

взгляды не совпадут, к гадалке ходить не надо. Кстати, если мы получим отклики на книгу, опубликуем и их, будь они интересные и разные.

Евгений Голубовский

Труба и лира

«Глаголы настоящего времени» – составленная Юрием Михайликом книга, в которую вошли стихи членов литературного клуба «Круг». «Простенькое название», кстати сказать, придумал клубу я, когда несколько месяцев по просьбе Михайлика, писавшего в ту пору военный роман, руководил клубом. Книга вышла в Киеве в издательстве Дмитрия Бурого, к ее появлению на свет причастен и Всемирный клуб одесситов.

«Они стали поэтами», – пишет в предисловии Юрий Михайлик. Но двадцать пять настоящих поэтов? Настоящих поэтов всегда единицы. Настоящие поэты – захлебываются не словами, а жизнью, которую нужно «схватить» так, чтобы она сохранила энергию, дыхание, запах... Жизнью захлебываются и... умирают. Как Елена Гассий.

«Алгебры в мире полно, Лобачевского тоже, но / гармонии нет внутри...» (В. Сухарев). А поэт все же, что ни говори, сын гармонии. Валерий, с юности увлекшийся рок-музыкой, знает, о чем говорит. Диссонансы, голос, срывающийся на крик, сбой ритма – вещи позволительные, свидетельствующие о мире как он есть. Но в душе поэта должна бы быть гармония – пусть «тайная», но все же иногда являющаяся, как солнце в разрыве между облаками. А ежели нет ее, то что взамен? Тоска смертная. И больше ничего.

С тяжким чувством читал я эту книгу. Читал вечером, когда за окном вдруг разбушевалась страшная гроза, и казалось, что сейчас лопнут стекла, а небо – в ослепительной вспышке – обрушится на нас. Стихи от этого аккомпанемента – только выигрывали. Читал утром – солнце светило, но мрак между строк не рассеивался. Вышел на кухню пить чай – и вдруг вспомнил строки

Ахматовой: «Когда погребают эпоху, / Надгробный псалом не звучит, / Крапиве, чертополоху / Украсить ее предстоит».

Книга называется «Глаголы настоящего времени». Но время-то – не настоящее, не живое и устремленное в будущее, а мертвое, которое погребают. «Духи хорошей знакомой не перекроют флер формалина. / Потом можно лежать и гадать до третьего петуха, / что попадется лопате: чернозем, песок или глина». Все тот же Валерий Сухарев – которому досталась роль «могильщика». Роли, конечно, не позавидуешь. Но что делать – в 91-м, когда вышла первая коллективная книга этих поэтов «Вольный город», уже началась «эпоха конца». Всем довелось дышать этим отравленным воздухом, насыщенным ядами полураспада.

«И на обломках самовластья напишут наши имена...» – писал Пушкин. Но во время крушения под обломками можно погибнуть. Вот и Юрия Михайлика занесло в Австралию, да и многих других, вошедших в составленную им книгу, разметало по разным странам. Как будто взрывной волной сдуло с места не просто насиженного, но в некотором роде наследственно-согретого и одесским солнцем, и собственным дыханием, лирическим теплом строки. И даже тем, кто никуда не уехал, иначе живется и дышится, как будто что-то изменилось в мире. Как будто и Одесса стала иной, и даже морская волна больше не поднимает тебя к небу.

«Что писать? И зачем? После Вертера – ветер, / После Бродского вброд сквозь бурлящий Бродвей...» (Рита Бальмина). Она – в Нью-Йорке, ей введомо «прокрустова лажа второй эмиграции». Механизм жизни, в котором что-то разладилось, и поэтому все возможно (стихотворение «Лишнее зачеркнуть»). И она думает о собственной смерти («формалиновый зал промозгл»). И не может не думать о прошлом, о том, что осталось «там». А в этом прошлом – друг, «художник, спившийся и умерший в психушке», папа и мама. Стихотворение, посвященное родителям, поражает своей беспощадной оптикой, отсутствием сантиментов и резкостью натуралистических деталей. В этих стихотворениях, помещенных рядом, бросается в глаза повторяющаяся фраза: «Могу ли я – и чем? – тебе помочь?»; «А я, их блудная дочь, / ничем не могу помочь». Профессиональное мужество солдата армии современных

интеллектуалов – и определяющим является не место, в котором живешь, а время, в которое влипли.

С ней переключается Белла Верникова из Иерусалима. Беллу помню, сейчас она профессорствует в университете, является вдобавок авангардным художником, выпускает пудовые тома, в которых на бумаге воспроизводится опубликованное в сети Интернета. В ее давних верлибрах очень пластично изображены приметы обыденной жизни. Встречал я у нее и рифмованную лирику. Но в этой подборке – слишком много какой-то политической иронии и местного (израильского) колорита. Однако – вот: « – Мама, ты счастлива? / – Этот вопрос здесь не стоит...» Разговор по телефону. У них уже не стоит. А у нас? Впрочем, вот формула, объединяющая и «их», и «нас»: «когда без предупрежденья / свет погас и все закрыто».

Анатолий Гланц – в Нью-Йорке. Впрочем, он там не весь – «позвал себя из тех краев, / и выманить не смог». Он ностальгически вспоминает: «Профиль собаки Четверткова чертил по пляжу песка отрадные линии». Собаку Четверткова смутно помню, но надо полагать, ее на свете больше нет. А что есть? Всемирный бедлам, о котором Гланц повествует в свойственной ему абсурдистской манере, слегка кося под Хармса: «Зачем кусочки адвоката / рулеткой мерить во дворе?». Или: «Китайцы уселись на стулья и стали решать, / кому из них завтра на ужин / достанется желтый диван». Если Бальмина и Верникова – реалисты, то тут сюрреализм, в котором исчезает запредельность живой боли, и остается лишь нечто вроде улыбки Чеширского кота – уже без самого кота.

Петр Межурицкий из Израиля тот же вселенский абсурдизм подает, пытаясь сохранить, так сказать, человеческие пропорции. «Мы на лодочке катались, / изучали матанализ». Почти частушки. «Как посмотришь, кто допущен к пирогу, / пирога не пожелаешь и врагу». Так и хочется цитировать – так обаятельно и остроумно все это говорится: «Я живу за рубежом и / ем кебаб и пью «Боржом», / потому как правда, ить, / надо есть и надо пить». А что еще остается в мире, где «мутясь рассудком, Ост и Вест / Жуют один и тот же текст»?

Из Владимира Дризо (Саарбрюккен, Германия) хочется процитировать две строки: «Границу рабства нельзя / перейти не-

легально...!»). И две строчки из Олега Томашевского (Москва): «просто время с колодою карт / свой реванш, наконец-то, берет». А карты – крапленые. Главное же – образ игры, который подрывает основы жизни, ее экзистенциальный серъез.

В этой книге – много искренней боли, да и иронии много – поэты издеваются над эпохой и над собой. В этой книге господствует не прямое слово, а «хитро изогнутое». Важно не столько сказанное, а интонация, подтекст, выражение лица, гримаса души. И я ловлю себя на мысли: а возможна ли в этой иронически изломанной реальности подлинная трагедия?

Читаю: «Я не знаю, кто я и кто вы. / Я живу в заповедном бреду». Ну вот – кажется, такое можно было написать и сто лет назад. Впрочем, это не Федор Соллогуб, а Анна Ройтбурд, Саарбрюккен, Германия. В ее стихах – чувство жизни почти на животном уровне: «я вчерашнюю шкуру меняю», «мы, как звери, что ходят впотьмах», «если б не было в мире зверей, / мне бы некого было жалеть».

Пришло время пояснить название этих заметок. Гавриил Державин за несколько дней до смерти написал на грифельной доске: «А если что и остается / Чрез звуки лиры и трубы, / То вечности жерлом пожрется / И общей не уйдет судьбы». Лира и труба – судьба личная и судьба общая. Читая эту книгу, я слышу скорее трубный звук судьбы – общей судьбы поколения, юность которого совпала с развалом империи. Грубый и громкий трубный звук – апокалиптический. Правда, иногда вступает ухмыляющийся саксофон.

И вот прорывается «жалобная лира». «Я слушаю северный ветер / и звук предпоследней трубы» (Анна Сон). Мне она кажется серьезным и большим поэтом, как бы уклонившимся от публичной литературной жизни. Между тем она на редкость точно ставит диагноз этой жизни, в которой «долг / путь от иголки в сердце до ничто». «Замерзнет виртуальная река, / затихнет сердце / кончится работа. / Уже никто не требует рывка / вперед и вверх, паденья и полета». Последние строки объясняют все. Некуда идти, незачем подниматься, чтобы потом срываться вниз, да и писать, в сущности, незачем. Разве что себе сказать, – но не другому, потому что другой и сам все это знает и чувствует точно так же.

«В этой вселенной есть улица горше смерти. / Там проживаю я – больше некуда деться» (Анна Стреминская). И еще – она же: «Мы, словно дети, на праздник сумели прокрасться! / Мир, что как будто не знает, как все быстротечно, / мир, где нельзя ни к кому, никогда привязаться». Кажется, Стреминской повезло, что она живет не в Саарбрюккене, здесь хотя бы еще звучит русская речь. Но и отсюда уже видишь: «Знаю – не пал Вавилон, на земле он все еще длится». Смешиваются языки, дичают души.

«Так, без причины, для порядка / висит пальто. Пустует стул. / И лишь душа вздохнет украдкой / о том, что ангел ей шепнул». Инна Коваленко. Жизнь вещей – без человека. В одном из стихотворений она словно хочет прорваться «к самим вещам»: молоко на кухне, постаревший шкаф... И вдруг за всем этим обнаруживаются «проемы, провалы, ступени, пролеты. / Так хочется пить. А река – утекла». Может быть, ради таких «проговорок», неожиданно обнаруживающих провалы в пустоты, саму структуру сегодняшнего существования, и стоит читать поэтов, даже не самых заметных. Вот и Владислав Китик вдруг роняет: «Как будто застигнут на этой / Дороге, а верю – другой». А Валерий Юхимов, который любит смешивать в стихах все времена и страны, пишет: «предмет, вынутый из пространства, теряет вскоре / форму и оплывает, подобно свече...».

Мир, в котором нет ничего устойчивого. Предмет вынимают из пространства – что же теперь будет определять его форму? А человека – как бы изымают из жизни – из подлинной жизни. Несчетное множество всего: имен, знамен, событий – но связь всего утеряна. «Детскими пальцами острые ниточки вить, чтобы концов не найти, а начала и вовсе не будет». Как страшно и точно! Это Ольга Ильницкая. Она могла бы быть большим поэтом, если бы не столь очевидная для меня и столь обычная для многих сегодняшних людей катастрофа: сознание раздавлено этим множеством всего, оно не может найти связующую нить, сложить внятный узор, найти устойчивый смысл. Мир рассыпается – и то, что рассыпалось, вновь не собрать. Но все же сухими иглами пронзают в стихах Ильницкой строчки. Трагические. «Не дышать, нет сил – / в светлое завтра окно». Я часто вижу Ольгу в новом платье – но вот объяснение: «В новом платье, сшитом для

нового горя». И вот оно – горе: «Что я могу сказать – рот закушен навек. / Дольше побудь живым, теплый ко мне человек».

Вчитавшись в стихи Ильницкой, я вдруг понимаю: в них все нет эстетства и демонстративной искусственности во всякого рода поэтических деликатесах. Вот я читаю Марка Эпштейна, очень крепкого профессионала. «В долине камень лег». И сразу – множество поэтических ассоциаций. Знаем, знаем, откуда камень! Но как выразителен финал: «На нем я буду ящерицей спать. / Полуслепой. Бесхвостой. Изумрудной». Вот Алексей Юдин, которого занесло в бельгийский город Гент, – в его стихах избыток утонченной поэтической культуры. И для того чтобы прорвалось подлинное чувство, нужна какая-то словесная (но тонкая!) неловкость. Вот строка: «Здесь нет в помине той, которой, которую, с которой мы...». В этой книге – очень умелые поэты, очень мужественно несущие свою (мировую) беду, очень сдержанные, ироничные, порой даже поблескивающие льдинками строк. А вот непричесанная исповедальность Ильницкой, столь редкая в современной поэзии: «И когда я лягу в чужую кровать / Не любить, а еще страшней – умирать, / Во мне маленькая девочка гукнет беззубым ртом. / Как виновата я перед ней. / Не пощадившая даже своих сыновей. / Оставлявшая жизнь и любовь – на потом».

Что поставить рядом с этим? Разве что мощное «Прощание славянки» Феликса Гойхмана. У него задатки эпического поэта. Ему бы поэмы писать. Но кто нынче читает поэмы? Впрочем, и четверостишия порой достаточно: «Душа, самозванка, комета / закатится в мир на часок. / Не это ль судьба человека – / песок, уходящий в песок».

...Да простят меня те поэты, о которых я не успел сказать. Валерий Бодылев – умный и... какой-то прозаичный. Ефим Ярошевский – печатающий те же самые стихи в сотый раз. Но два поэта в этой книге меня удивили. Один – Александр Веролобов. Какая неожиданно чистая интонация! Я помню, он писал какие-то авангардные сочинения. А его амбициозность превращала его в совершенно невыносимого собеседника. Что же с ним произошло? Вероятно, кое-что проясняет указание на его сегодняшнее место жительства: Скит Преподобного Сергия Радонежского Данилова монастыря в Рязанской области, Россия. Не скажу, что все стихо-

творения мне одинаково нравятся, но одно, коротенькое, хочется привести полностью: «Дитя, не плачь, / не надо, / смотри, / какой закат, / вот гроздь / винограда / вбирают аромат / далекого светила, / грядущего в моря, / вот пуля / просвистела – / меня убила. / Зря». Неожиданная концовка этой почти идиллической картин-ки выдает знание о трагической подоплеке времени и жизни.

Второй поэт – Елена Гассий. Почти все стихи в этой подборке говорят о времени. Времени ей было отпущено мало. «В тридцатый раз встречаю первый снег / И первый раз не рада, нет, не рада». Драматическое ощущение окружающего мира. «Каменный забор. Каменные лица». И – неожиданная, все озаряющая строчка: «Тонут облака в омуте свободы». Додумываешь: свобода – омут, в который можно броситься вниз головой! Но главное в ее стихах – обаятельная, в плен берущая интонация. «Отражаются в рельсах / Светофор и Луна. / Остановка троллейбуса / Перенесена». Простите, не могу удержаться, чтобы не процитировать несколько строк: «Валунов огромных гладкость, / Ярких водорослей зыбкость, / И жары осенней краткость, / И мальков коротких гибкость, / Вечер, берег, кружка чая, / влажность крыльев белых чаек – / Ничего не означает, / Ничего не означает». Нет, именно то и означает, что перед нами поэт. Настоящий. И чем-то напоминающий молодого Юрия Михайлика. Захваченный миром врасплох. Поэт – не о смерти. «О жизни, о жизни, и только о ней».

Илья Рейдерман

Возвращение в Вольный город

Круг – геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от заданной точки – центра круга. Круг – графический символ цельности, который служит для усиления концентрации и защитных целей. Круг – обозначение Солнца и совершенства...

Наверняка именно стремление к центру, цельности и совершенству объединило три десятилетия назад поэтов-одесситов под руководством Юрия Михайлика в литературный клуб – «Круг». Стремление к южному звонкому свободному солнцу, которое, как тридцать лет на-